

---

## РОССИЙСКИЙ ПЛЕН 1914–1922 ГГ.: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ УРАЛА)

Н.В. Суржикова

Институт истории и археологии  
Уральского отделения Российской Академии наук  
*ул. Розы Люксембург, 56, Екатеринбург, Россия, 620026*

В статье предпринята попытка рассмотреть российский плен 1914–1922 гг. из социологической перспективы. Автор показывает, что, будучи одновременно и группой включения (инклюзии), и группой исключения (эксклюзии), пленные иностранцы сыграли как положительную, так и отрицательную роль. С одной стороны, они способствовали деформации привычных социальных границ, норм и структур, а с другой – их качественному обновлению. При этом «напрямую» или «в обход» присваивая чужую, больше того, изначально враждебную среду, узники войны не стали, да и не могли стать ее органической частью. Во многом это объяснялось тем, что российское общество в силу остроты своих внутренних противоречий отказало иностранным военнослужащим в перспективе успешной социализации, лишив себя одной из возможностей формирования сложносоставных идентичностей и обусловленных ими разнонаправленных социальных взаимодействий, обеспечивающих устойчивость и преуспевание современных социальных организмов.

**Ключевые слова:** Первая мировая война, военный плен, чужаки, принимающее общество, социальное действие, социализация, включение, исключение, норма участия.

Автор концепции социального пространства, П. Бурдье, подчеркивая трудности в выявлении объективных социальных связей, указывал: «Взаимодействия... [которые] можно наблюдать, снимать, регистрировать, короче, трогать пальцами, заслоняют структуры, которые в них реализуются. Это один из тех случаев, когда видимое (непосредственная данность) скрывает невидимое, которым она определяется» (1). Обозначенная таким образом проблема «невидимости» социального действия вполне актуальна и применительно к пространству российского плена 1914–1922 гг., социологическая панорама которого с трудом поддается реконструкции, оставаясь загадкой, до сих пор завернутой в обертку социальной истории, имагологии, социологии опыта или социальной психологии (2). Между тем пленные, которых в России 1914–1922 гг. насчитывалось порядка 2 млн, как особое социальное «тело» объективно наличествовали и были не безразличны (к) социальным образованиям и порядкам нового для них мира.

Действительно, развиваясь в континууме между исключением (эксклюзией) и включением (инклюзией), социология плена предполагала, что выброшенные

на обочину или и вовсе за пределы привычных сетей социокультурного взаимодействия пленные тут же вовлекались в альтернативные сети такового.

Апеллируя к «социологии чужака» Г. Зиммеля, воссозданной в ряде работ С.П. Баньковской (3), логично предположить, что вынужденное соседство пленников и «аборигенов», должно было сформировать особую норму соучастия тех и других в жизни друг друга. При этом российские чиновники, как военные, так и гражданские, запретив военнопленным «всякие с населением разговоры, не вызываемые деловою надобностью и житейским обиходом, в особенности же разговоры на политические, военные и общественные вопросы, возбуждающие смуту, тревогу и неудовольствие» (4), рассматривали указанную норму не иначе как часть сферы властных компетенций.

Пытаясь проложить между пленными и местным населением границу, «оборудованную» посредством угрожающих возмездием предписаний, администраторы не оставляли взаимодействию иностранцев и россиян никаких других перспектив, кроме перспективы безучастного наблюдения. Предполагая минимум соприкосновений, оно должно было служить своего рода озоновым слоем, оберегавшим и пленных, и обывателей от межгрупповых контактов. Но этот озоновый слой оказался легко проницаем на уровне межличностном, о чем свидетельствовали многочисленные взыскания, наложенные на местных жителей за общение с военнопленными, причем общение самое разнохарактерное.

Так, в июле 1915 г. штраф по рублю с каждого или 2-дневному аресту были подвергнуты крестьяне, зашедшие в барак при Ново-Лялинском лесопильном заводе товарищества «Лаптевы и Манаев» и вступившие в разговор с обитавшими там пленниками. За праздные же разговоры с пленными штрафом в 5 рублей с его заменой 3-дневным арестом была наказана крестьянка Екатеринбургского уезда Е. Мельникова, помимо всего прочего, позволившая себе «в знак особого внимания» подарить одному из пленников, находившихся на излечении в Нижне-Тагильской заводской больнице, свою фотокарточку. В середине 1915 г. в передаче между военнопленными Надеждинского завода и Морозковской ветки Богословской железной дороги писем без надлежащей цензуры были уличены крестьяне А. Исупова, Н. Ляпунов и О. Ляпунова, оштрафованные на 25 руб. каждый. Весной 1916 г. на станции Нижняя Салда горнозаводской линии Пермской железной дороги крестьянином А. Долбаловым у рабочего австрийца И. Тюрика была похищена записная книжка с 21 руб., «за возвращением которых их законному владельцу вор отделался краткосрочным арестом». Жители Верхне-Синячихинского завода В. Елькин, В. Соколов, Г. и Е. Молоковы, «с целью озорства» забросавшие казарму военнопленных камнями и поленьями 11 июня 1916 г., «удостоились» более сурового наказания – штрафа в 20 руб. с его последующей заменой месячным арестом (5).

Список возбудителей общественного спокойствия, нарушивших властный запрет на контакты с пленными иностранцами, постепенно превращался

в необозримый, обнажая тот факт, что грань между соприсутствием и соучастием вражеских военнослужащих в жизни регионального и локальных сообществ более чем условна. Она, возведенная далекими от повседневной жизни города, завода или деревни властями, к их бесконечному разочарованию выполняла не столько барьерную, сколько контактную функцию. Тем самым норма социальной вовлеченности/отстраненности пленных, предложенная «сверху», не просто размывалась, а превратилась в фикцию, в то время как «снизу» формировался ее альтернативный образец, ориентированный на постепенный рост социальной компетентности «чужаков» и возможно даже на постепенное улучшение их социального самочувствия.

Образец этот, однако, был лишен «геометрической правильности», поскольку в процессе своего складывания сопрягался с проблемой непростого и изменчивого выбора. Что делать – обороняться, сотрудничать или использовать друг друга как ресурс – пленные и не пленные разрешали этот вопрос сообразно своим мотивам, ожидаемо «приземляя» социальное действие до уровня конфликта или конвенции. При этом то обстоятельство, что негласное правило «безраздельное господство – безропотное подчинение», навязывавшееся военнопленным всяческими властями, для уровня обыденных контактов обязательным не стало, во многом способствовал редкости непримиримых – абсолютных – конфликтов между вражескими военнослужащими и местным населением. Это соображение может показаться слишком смелым, учитывая, что карта уральского плена была густо усеяна очагами напряженности, выливавшейся в том числе и в открытое физическое противостояние.

Так, 25 августа 1915 г. сторож Надеждинского завода К. Шулаков и австрийский военнопленный И. Шипош затеяли стычку, в результате которой первый попал под нехотевший мимо поезд и погиб на месте. В апреле 1916 г. на 590 версте Казань-Екатеринбургской железной дороги в районе 2 дистанции 6 участка работавшие здесь военнопленные «атаковали» техника Дрягина, нанеся ему несколько ударов. В октябре 1916 г. на 581 версте той же железной дороги стражник Некрасов ранил из револьвера немца П. Люкса, не пожелавшего по-хорошему отдать четверть браги. В декабре того же года общение австрийца И. Калмана с молодежью с. Турьинские Рудники Верхотурского уезда закончилось тяжелым ранением пленного. В феврале 1917 г. во владениях князя С.С. Абамелек-Лазарева под Соликамском группа пленных поколотила охранника К. Власова, а его коллеге М. Васеву нанесла пару легких ножевых ранений. Летом того же года в казарме № 154, находившейся на 286 версте Пермской железной дороги, семеро пленников напали на своего конвоира Г. Гайфуллина и нанесли ему побои (6).

Умножение примеров такого рода можно было бы продолжить, но оно не добавит убедительности тому факту, что силовые решения в отношении пленников и «аборигенов» доминировали. Для контекста, в котором реализовывались негативные сценарии взаимодействия пленных иностранцев и,

условно говоря, «русских», определяющим, как правило, оказывался служебный долг последних. В случаях же его отсутствия контакты военнопленных, с одной стороны, и местных жителей, с другой, могли складываться и складывались вполне бесконфликтно. «...Военнопленные свободно и почти ежедневно, а в особенности в праздники, разгуливают по деревням Алмазской, Петропавловской и Мостовской волостей (Красноуфимского уезда. – С.Н.), занимаясь попрошайничаньем хлеба, яиц, масла и молока, а некоторые из них даже пьянствуют, так как у крестьян нередко можно найти хмельную брагу», – указывал заместитель начальника Пермского губернского жандармского управления в докладе пермскому губернатору 27 июня 1916 г., зафиксировав как факт исключительно мирные контакты пленных иностранцев и крестьянского населения (7).

Аналогичную картину являло пребывание пленников в среде городских жителей. Так, в первых числах июля 1915 г. группа пленных офицеров трижды посетила фотографический магазин почетного гражданина г. Екатеринбург В.Л. Метенкова, где владелец заведения лично обслужил необычных покупателей самым обходительным образом, продав им аппарат «Энсейнет» и несколько пленок к нему. В ночь на 9 апреля 1916 г. при проверке притонных домов по Луговой улице в доме № 24 оказались распивавшие хмельную брагу австрийцы К. Шебек и Ф. Моршанок, присутствие которых недовольствия у собравшейся здесь кампании не вызывало, скорее, наоборот (8). В середине 1916 г., «в дом № 94 по Покровскому проспекту, в квартиру екатеринбургской мещанки Людмилы Васильевны Александровой, 18 лет, служащей в магазине Богатиевых в качестве кассирши, в 10 часов вечера приходил военнопленный офицер, австрийский подданный, который... умудрился с нею где-то познакомиться и вступить с нею в любовную связь» (9).

Эти и другие индивидуальные практики, складываясь в социальные тенденции, наглядно свидетельствовали, что градус конфликтности плена в ситуации неформального, читай, нелегитимного взаимодействия зримо снижался в сравнении с ситуациями организованного производства или организованного потребления. При этом преимущественно прагматическая, предметная направленность как казуальных, так и типических связей, будь они разрешенными или запрещенными, задавала большинству возникших в пространстве плена конфликтов позитивный вектор. Иначе говоря, случившиеся «на территории» плена конфликты означали не столько разрыв, сколько рациональное взаимодействие, в ходе которого взаимозависимые стороны вынуждены были искать и находить общие интересы (10).

Источники свидетельствуют, что со временем этот сценарий стал притом не только личностным поведенческим выбором, но и групповым. К примеру, в условиях продовольственного кризиса, к середине 1916 г. резко обострившего конкуренцию на рынке потребления, обыватели Верхотурского уезда, хоть и не сразу, но все-таки отказались от конфликтного сценария отношений с вражескими военнослужащими, предложив им договорить-

ся: «В отмену состоявшегося постановления (обывательского комитета. — *С.Н.*) от 20 августа сего года о воспрещении военнопленным покупки съестных припасов постановлено: разрешить военнопленным покупку всех жизненных съестных припасов и молочных продуктов на местном рынке из торговых заведений по вторникам и четвергам от 10 до 20 часов дня» (11).

Именно поиск выхода из той или иной конфликтной ситуации, обнаруживая недостаток, дефицит соучастия пленников в жизни принимающего коллектива и соответственно, наоборот, недостаток, дефицит соучастия принимающего коллектива в жизни пленников, способствовал постепенной либерализации той нормы этого соучастия, которая было сложилась на местах. Тем самым при всех попытках властей блокировать процесс самоактуализации (и самореализации) пленных в новом для них окружении набирал обороты, говоря об их неизбежной автономизации как субъекта социального действия.

Настоящий социальный тонус пленных, в свою очередь, зафиксировал как свершившийся факт их постепенного встраивания в те социальные (или асоциальные) порядки, которые демонстрировало современное российское общество. Сознательно или нет, свидетельства такового встраивания оставили сами военнопленные, запечатлев свою востребованность в новой для них среде. Так, в конце 1916 г. пленный Иосиф Шафранек сообщал родным: «В русском плену я с 10 сентября 1916 г. Нахожусь в Сибири и работаю по деревням как портной. Хорошо зарабатываю и живется мне здесь так хорошо, как нельзя было и предполагать. За это время я прошел 42 деревни. Портной здесь один на 200 деревень, как и другие ремесленники» (12). «Настоящим имею честь просить Вас, не можете ли мне дать разрешение на открытие в Баранчинском заводе парикмахерской, в каковой, по-видимому, здесь крайняя нужда, так как очень многие обращаются ко мне как за бритьем, так и за стрижкой волос», — ходатайствовал перед управителем Баранчинского завода Гороблагодатского горного округа военнопленный И. Матольчи, причем ходатайствовал не напрасно (13). Примерно в том же духе было выдержано направленное «заведывающему» военнопленными в г. Шадринске прошение унтер-офицера австрийской армии К. Секулы, за два года плена настолько «сжившегося» с местными реалиями, что решившего здесь остаться и после войны, открыв свою столярную мастерскую (14).

Очевидно, таким образом, что социализация пленных иностранцев далеко не всегда требовала освоения ими каких-то диковинных ролей. При этом главным помощником в деле ориентирования пленников в незнакомом социальном пространстве стала прежде всего их социальная память, созвучная, что немаловажно, с социальной памятью принимающего общества. Многие обезоруженные вражеские военнослужащие быстро «вспомнили» о том, что в недавнем довоенном прошлом они были обычными крестьянами, рабочими или ремесленниками. «На работах чувствовали мы себя свободными гражданами, а теперь с понурой головой пойдем в лагерь невольни-

ков», – жаловались пленные в своих письмах на родину (15), обнаруживая тот факт, что при всей специфичности подневольного труда он лимитировал процессы социального исключения (экслюзии) и, больше того, способствовал их превращению в процессы включения (инклюзии).

Поэтому в том, что военнопленные, «отвыкнув от порядка военной службы, превратились в обыкновенных заводских рабочих» (16), не было ничего удивительного.

Превратившись в «обыкновенных заводских рабочих» с нормальным для того времени набором противоречивых отношений с работодателями, пленные тем самым «компенсировали» свою социальную ущербность. Та же картина наблюдалась в российской деревне, что местная пресса зафиксировала уже в начале 1915 г.: «На рынке в городе Кургане можно увидеть такую умильную картину: австриец в крестьянском платье на возу сена или дров рядом с бабой-солдаткой приехали продавать. Иногда все это дело поручается одному австрийцу, а хозяйка остается дома» (17).

Источники свидетельствуют, что к середине 1921 г. из пребывавших в Ирбитском уезде 481 пленника только 7 не смогли реализовать свой социопрофессиональный капитал, уже имевшийся или приобретенный в годы плена (18). «Коренным большинством» такой поворот в социализации «чужаков» воспринимался относительно спокойно, поскольку также означал возвращение к «нормальности», к восстановлению привычного, но утраченного системой социальных таксономий баланса или, по крайней мере, создание его видимости.

Как возвращение к привычным же отношениям полов должно расценивать порицавшиеся обществом, но при этом стремительно распространявшиеся в нем интимные связи между пленными иностранцами и россиянками. «В деревне дегтя не хватает, весь пошел на баб – мажут им ворота»; «теперь за мужей пошли в моду австрийцы»; «наши дамы не только мужественны, но и многомужественны» – шутили современники (19), ставшие свидетелями девальвации вековых моральных устоев.

Но нравилось им это или нет, означенный процесс был по-своему закономерен. Оказавшись в плену и тем самым потерпев личное поражение в войне, вражеские солдаты и офицеры лишались части своего символического капитала, запрограммированного их принадлежностью к «сильному» полу, и согласиться с этим были готовы далеко не все из них (20). Тожественная в рамках общественного дискурса сила, победе и власти «мужчинность», утраченная пленниками, с возложением на них миссии по поддержке хозяйств осиротевших солдатских семей, – а за ними и сельского хозяйства и промышленности вообще, – частично компенсировалась.

Следующий шаг на пути к встраиванию пленников в «эталонные» отношения мужского доминирования сам собою предусматривал их близкие контакты с русскими девушками и женщинами, не замедлившие себя ждать. И если в городе «любовные связи» с иностранцами часто ограничивались ни

к чему не обязывающим легким флиртом или скоротечным романом (21), то на селе пленники, днем заменяя ушедших на фронт крестьян в поле, довольно часто занимали их место на опустевшем брачном ложе ночью.

Найдя же в обезоруженных вражеских военнослужащих необходимость в работе и быту опору и потому соглашаясь на интимные отношения с ними, селянки, что примечательно, готовы были биться за «своих» пленных до конца. Так, Татьяна Мякишева, крестьянка села Фоминского Тюменского уезда Тобольской губернии, обращаясь к волостной администрации 14 июня 1917 г., писала: «Имею честь донести продовольственному комитету, чтобы мне переменили работника военнопленного Егора Грозу, потому что он мою работу не знает точить пилы, потому что мы все только кормимся дровами, также не может он бить литовки, даже не умеет держать, как и мне это самой невозможно сделать, и прошу этот вопрос как-нибудь рассмотреть и назначить мне (того пленного. – *С.Н.*), который жил зиму, потому как я его держала зиму и, когда он болел, я его кормила [, хотя] и были нерабочие дни, и вовремя платила попечительство» (22).

Примерно в то же время ее односельчанка, Елизавета Фомина, требовала: «30 июля сего года Фоминский сельский комитет, не знаю почему, отобрал от меня военнопленного рабочего Михаила Лескина, человека, к которому я привыкла и который знает все мои поля и может свободно идти и ехать один на работу, и назначили ко мне вновь прибывшего военнопленного Ивана, фамилии которого не знаю, человека совсем мне мало известного, довериться которому по хозяйству я не могу, а потому прошу Фоминский продовольственный комитет распорядиться перевести ко мне ранее жившего у меня военнопленного Лескина для исполнения хозяйственных работ в возможно непродолжительное время, так как я в настоящее время не имею никакого рабочего, которому бы могла вверить хозяйничанье по дому» (23).

Деятельное участие пленников как в «дневной», так и в «ночной жизни» того или иного локального сообщества было своего рода взаимовыгодным компромиссом, основанным на логике «взаимозависимых решений» (Т. Шеллинг). И то, что выработанный традиционной культурой в течение веков стандарт не очень-то приветствовал как женское, так и мужское одиночество, в условиях затянувшейся войны лишь ускорило развитие этой логики и детерминировало выбор именно этих решений. «Имею просить исполнительный комитет убрать с поселка Прокопьевского военнопленного Федора Костина и выслать взамен него другого. Федор Костин проживает два года у солдатки Татьяны Мякишевой, и он наш неприятель, с которым мы воюем три года, а он прижился в нашей деревне и распоряжается над нашими гражданками солдатками, а если вы не можете убрать его, то я буду просить уездного комиссара об убрании его. Нетерпимо, чтобы пленные распоряжались над нами», – запоздало негодовал прибывший в начале 1917 г. в родное село фронтовик М. Полоскаев, для которого сформированный пленом стандарт гендерных отношений, пре-

ступный с точки зрения публичной этики и буквы закона, но нормализованный обыденной практикой, стал неприятным открытием (24).

Но ни это, ни аналогичные ему обращения «во власть» повлиять на общую тенденцию не могли. Порядок вещей, сложившийся на местах, продолжал господствовать и далее, нормируя контакты военнопленных и женского населения провинции на основе принципа взаимной необходимости. «В деревню Мишагину я приехал в 1919 г., 8 июня, как военнопленный, ...на полевые работы... Нас приезжало четыре человека, я... оставался работать у гражданина Мишагина Василия Григорьевича, но, побыв у него один месяц, перешел к гражданке Мишагиной Агафье Игнатьевне, у которой в то время мужа не было, потому я начал работать у нее в хозяйстве и до настоящего времени нахожусь у ней, потому как ее муж со службы не вернулся, и я с ней живу как с женой уже восьмой год...», – указывал мадьяр Имре Беретваш в ходатайстве о приобретении советского гражданства в 1926 г. (25).

Так или иначе, но норма социальной вовлеченности/отстраненности пленных иностранцев, конституировавшаяся в пространстве российского плена, демократизировалась все больше и больше. Однако выражавшаяся в их постепенном «просачивании» в актуальные социальные структуры и иерархии, она не спешила оборачиваться ассимиляционными процессами. В соответствии с З. Бауманом, полная ассимиляция чужаков в рамках одного поколения просто невозможна, поскольку он всегда будет помнить свою чуждость и никогда не забудет те проблемы непонимания, с которыми столкнулся (26).

Помимо того полновесное, безоговорочное включение пленников в существовавшие сети социального взаимодействия проблематизировалось также тем, что коллективность вражеских военнослужащих была абстрактна, и они, являя собой сообщество сообществ, олицетворяли не единство, а социокультурную эклектику. В таких условиях перспектива каждого совсем не обязательно смыкалась с перспективой всех, оставляя пространство для некоторого маневра. Инвариантности социального действия со стороны пленников способствовало еще и то обстоятельство, что попытки помешать им так или иначе самореализоваться, приводили к выработке новых, неведомых ранее практик самореализации личностей и групп. Именно поэтому, «напрямую» или «в обход» осваивая и даже присваивая чужую, изначально враждебную среду, узники войны не стали, да и не могли стать ее органической частью.

При этом в условиях, когда состояние здоровья общественного организма в России стремительно ухудшалось, военнопленные оказались одним из тех факторов, который путем дестабилизации границ между социальными, асоциальными и антисоциальными моделями поведения работал на деформацию и эрозию устоявшихся форм общежития.

Но процесс социализации пленников обнаружил не только исключительно разрушительные последствия. Одновременно он способствовал об-

новлению соционормативных установлений, приготавливая российское общество к формированию качественно новых социокультурных институтов и практик как на макро-, так и на микроуровне (27). В этой связи российский плен 1914–1922 гг. позволительно аттестовать как катализатор рождения после 1917 г. социальных структур новой «формации» или, как минимум, перерождения старых. Военнопленные Иосиф Добош и Фридрих Винтерштейн, занявшие после Гражданской войны посты заместителя начальника полномочного представительства ОГПУ по Уралу и военного комиссара Вятки соответственно, и вовсе стали олицетворением нарождавшейся советской элиты, с азартом принявшей за новое социальное межевание России (28).

Предвосхитив и ускорив те социальные сдвиги, которые ожидали Россию с окончанием Первой мировой войны, плен и пленные тем самым подтвердили теорию американского социолога И. Парка о склонности социально дезориентированных индивидуумов и групп, не стесненных никакими границами и установлениями, к инновационной деятельности (29).

Однако тектонический характер отмеченных сдвигов привел к дезориентации не только вражеских военнослужащих, но и относительно стабильных социальных образований: «Жизнь в условиях непрерывной опасности, непрестанных и непонятных перемен не позволяла просчитывать перспективу, долговременно планировать свою деятельность и предугадывать ее последствия» (30).

В таком положении военнопленные, как и россияне, стремились лишь к одной цели – к выживанию, действуя в соответствии с универсальной логикой аполитичного большинства, выразившейся в занятии более или менее надежного убежища. Но, как справедливо отмечает И.В. Нарский, стремление во имя выживания стать незаметным, затаиться, переждать и перетерпеть отнюдь не означало «замирания социальной активности безымянных масс» (31).

При этом, находя или не находя более или менее безопасные ниши, пленники примерили на себя самые разные одежды: бывшие военнослужащие австро-венгерской армии Тубек Георг и Хорей Осип, к примеру, умудрились даже побывать в плену у «белых» (32). Подобные пертурбации в планы пленников, безусловно, не входили, будучи побочным эффектом поиска социально выигрышных ролей. Рост сопряженных с ним опасностей в конце концов привел к тому, что даже те иностранные солдаты и офицеры, которым после Гражданской войны удалось занять ту или иную относительно удачную социальную высоту, устремили свои взгляды на родину. Михаил Троян, рабочий Екатеринбургского губернского управления по топливу, Николай Байч, служащий Шадринского «полпродгуба», Ян Кунферштонг, счетовод Екатеринбургского гудпродкома, Михаил Салонтай, агроном Нижне-Синячихинского агротоварищества, Федор Гинтерляйтер, управляющий аптекой Сосьвинского завода, Игнатий Турнель, служащий Надеждинского уездного бюро профсоюзов, Имре Боднар, инженер-строитель отдела госсос-

оружений в Екатеринбурге, Вячеслав Бичик, школьный учитель, заведующий волполитпросветом и член сельского Совета Ирбитского завода, а также служившие Екатеринбургском губпленбеже Игнат Брунер, Иштван Голуб, Иван Цах, Фердинанд Яновский, Михаил Гуляк, Хаскель Байсель и Мориц Гарфункель, – эти и другие пленники не видели себя во вновь формировавшейся социальной иерархии (33). Их механическое превращение в группу исключения (экслюзии) парадоксально детерминировалось еще и присвоением им статуса «бывших военнопленных империалистической войны», который, как и статус прочих «бывших», стал маркером социальной «недополноценности».

«30 июня состоялись торжественные похороны невянских революционеров, павших 12–17 июня от расправы контрреволюционных банд. ...С кладбища процессия двинулась к... месту расправы над погибшими товарищами. Оттуда был вынесен еще один гроб с нашим товарищем, бывшим военнопленным, прибывшим сюда с одним из отрядов красноармейцев и павшим во время перестрелки с белогвардейцами», – писала газета «Уральский рабочий» 5 июля 1918 г., запечатлев тот факт, что даже отдавшие жизнь за «светлые идеалы Октября» пленные так и остались пленными (34). Будучи синонимом неопределенности, они вписывались в обновленный социальный проект не на прочих равных условиях, а с некоторой степенью «исключительности» даже тогда, когда принимали решение о смене гражданства. Поэтому едва ли стоит удивляться, что, выбирая Советскую Россию как постоянное место жительства, многие военнопленные и, в частности, немец Бехнер Иозеф (35), предпочли своим фамилиям фамилии своих «русских» жен, позволявшие избавиться от кричащего признака «особости». При этом норма соучастия вражеских военнослужащих в актуальном социальном процессе утрачивала всякую определенность, выстраиваясь ситуативно и при том непредсказуемо, что и заставило большинство пленников разорвать те сообщительные связи, которые налаживались ими в течение нескольких лет.

Очевидно, что плен, причем не только российский, но и любой другой, двойственен, предполагая синхронизацию процессов исключения и включения. Не менее очевидно и то, что их течение на фоне отечественных реалий 1914–1922 гг. характеризовало не только специфику российского плена, но и динамику социокультурного ландшафта. Она же говорила прежде всего о том, что провинциальное сообщество не хотело никаких перемен, будучи по природе своей иммобильным. Оно хотело стабильности, а потому сначала не замечало чужаков, затем стремилось отгородиться от них, а впоследствии и вовсе «поглотить» их. Но налицо при этом оказалась проблема «несварения», связанная с тем, что социально типические практики и индивидуальные выборы принадлежали к разным плоскостям общественно значимого действия. При этом вопрос о том, какие из них играли большую роль при определении конфигураций плена, остается открытым.

Действительно, обнаруживая себя на различных уровнях общественной организации одновременно и как индивидуальности, и как соотношение целого ряда инаковых групп, и как относительно целостная субъективность, военнопленные вносили в таблицы социального поведения сумятицу. Способствуя размыванию более или менее определенных статусов и норм, плен и пленные убыстрили их трансформации, которые, наложившись на острые конкретно-исторические противоречия, актуализировали отнюдь не те тенденции общественного развития, которые диктовались современным цивилизационным стандартом. Иначе говоря, «не попадая» в эпоху и без пленных, с ними российское общество «не попадало» в эпоху еще больше. Ожидаемо отказав иностранным военным служащим в перспективе успешной социализации, оно лишило себя одной из возможностей формирования сложносоставных идентичностей и обусловленных ими разнонаправленных сообщений, обеспечивающих устойчивость и преуспевание современным социальным организациям.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) *Бурдые П.* Социальное пространство и символическая власть // *Бурдые П.* Начала. – М., 1994. – С. 187.
- (2) См., напр.: *Абдрашитов Э.Е.* О социальной ностальгии российских военнопленных в Первой мировой войне // *Социологические исследования.* – 2006. – № 4. – С. 131–135; *Вурцер Г.* Мир чужой и непостижимый: к образу России Эдвина Эриха Двингера // *Россия и русские глазами дальнего зарубежья: Сб. статей.* – Томск, 2002. – С. 31–38; *Галицкий В.П.* Социально-психологические аспекты межгрупповых отношений в условиях военного плена // *Социологические исследования.* – 1991. – № 10. – С. 48–63; *Люкшин Д.* Немецкие военнопленные в крестьянской России: особенности межкультурного опыта // *Россия и Германия в XX веке.* – М., 2010. – Т. I: Обольщение властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах. – С. 723–740; *Нагорная О.С.* Другой военный опыт: Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914–1922). – М., 2010; *Семенова Е.Ю.* Межличностные контакты женщин поволжского города с военнопленными в период Первой мировой войны: столкновение индивида с коллективной психологической установкой // *Частное и общественное: гендерный аспект: Материалы IV Междунар. научн. конф.* – М., 2011. – Т. 1. – С. 475–479; *Сенявская Е.С.* Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М., 1999; и др.
- (3) См.: *Баньковская С.П.* Другой как элементарное понятие социальной онтологии // *Социологическое обозрение.* – 2007. – Т. 6. – № 1. – С. 75–87; *Она же.* Чужаки и границы: к понятию социальной маргинальности // *Отечественные записки.* – 2002. – № 6. – С. 457–467; и др.
- (4) Обязательное постановление «О военнопленных, сданных на сельскохозяйственные работы в пределах Пермской губернии» // *Пермские губернские ведомости.* – 1915. – 28 июля. См. также: Обязательное постановление «О находящихся в пределах Пермской губернии военнопленных, не подходящих под действие обязательных постановлений от 27 и 28 июля 1915 г. с дополнениями к ним от 15 и 19 июля 1916 г.» // Там же. – 1916. – 8 авг.; и др.
- (5) Государственный архив Пермского края (ГАПК). – Ф. 65. – Оп. 3. – Д. 593. – Л. 173; Оп. 5. – Д. 156. – Л. 12, 12 об., 16, 22, 39; Государственный архив Свердловской об-

- ласти (ГАСО). – Ф. 45. – Оп. 1. – Д. 231. – Л. 127; Административные взыскания за нарушение обязательных постановлений // Пермские губернские ведомости. – 1916. – 7 июля; Взыскания за нарушение обязательных постановлений // Там же. – 1916. – 13 января; Взыскания, наложенные г. начальником губернии, за нарушение обязательных постановлений // Там же. – 1915. – 5 нояб.; Кража у военнопленного // Уральская жизнь. – 1916. – 1 апр.; и др.
- (6) ГАПК. – Ф. 146. – Оп. 1. – Д. 21«а». – Л. 1110 об.; Ф. 65. – Оп. 3. – Д. 593. – Л. 24, 24 об., 44–45, 77–78 об., 109; Д. 601. – Л. 5, 5 об.
- (7) Там же. – Ф. 65. – Оп. 3. – Д. 593. – Л. 60.
- (8) Там же. – Л. 194; Ф. 214. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 75.
- (9) Там же. – Л. 155 об.
- (10) Теорию таких взаимодействий см. в: *Шеллинг Т.* Стратегия конфликта. – М., 2007.
- (11) ГАСО. – Ф. 181. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 5.
- (12) Государственный архив г. Тобольска (ГАТ). – Ф. и-152. – Оп. 27. – Д. 191. – Л. 318.
- (13) ГАПК. – Ф. 146. – Оп. 1. – Д. 20. – Л. 282.
- (14) Государственный архив г. Шадринска (ГАШ). – Ф. р-766. – Оп. 1. – Д. 350. – Л. 8.
- (15) ГАТ. – Ф. и-152. – Оп. 27. – Д. 191. – Л. 268.
- (16) ГАПК. – Ф. 65. – Оп. 3. – Д. 593. – Л. 107 об. – 108.
- (17) Пленные австрийцы в Сибири // Пермская земская неделя. – 1915. – 26 февр.
- (18) ГАСО. – Ф. р-1646. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 9.
- (19) ГАТ. – Ф. и-152. – Оп. 27. – Д. 191. – Л. 273, 350 и др.
- (20) О процессах демаскулинизации и сопутствующем им развитии гомосексуальных отношений в плену см.: *Rachamimov A.* The Disruptive Comforts of Drag: (Trans) Gender Performances among Prisoners of War in Russia, 1914–1920 // *The American Historical Review.* – 2006. – April. – Vol. 111. – № 2. – P. 362–382.
- (21) См., напр., о «романе» невьянской учительницы Е. Зубаревой и офицера-чеха К. Вышки: ГАПК. – Ф. 214. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 101, 101а – 101 а об., 168–169, и др.
- (22) ГАСО. – Ф. 351. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 173.
- (23) Там же. – Л. 274.
- (24) Там же. – Л. 222.
- (25) ГАШ. – Ф. р-257. – Оп. 2. – Д. 104. – Л. 7, 14.
- (26) См. об этом: *Гусев А.* Маргинализация и космополитизм: взгляды современных теоретиков на социальные последствия интенсификации пространственных перемещений // *Социологическое обозрение.* – 2009. – Т. 8. – № 2. – С. 74.
- (27) См. об этом: *Сергеева О.А.* Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // *Общественные науки и современность.* – 2002. – № 5. – С. 113.
- (28) См.: ГАПК. – Ф. р-790. – Оп. 1. – Д. 2873. – Л. 1–7; Государственный архив административных органов Свердловской области. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 25299. – Л. 6.
- (29) Речь идет о концепции, изложенной в кн.: *Park R.* Race and Culture. – L., 1964. См. об этом: *Сергеева О.А.* Роль этнокультурной... – С. 107.
- (30) *Нарский И.В.* Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. – М., 2001. – С. 564.
- (31) Там же. – С. 566.
- (32) ГАСО. – Ф. р-1646. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 138.
- (33) Там же. – Ф. р-511. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 20, 33, 42, 44, 40, 52; Д. 200. – Л. 5–6, 41 об. – 42; Д. 358. – Л. 310, 377; Ф. р-1646. – Оп. 1. – Д. 27. – Л. 64, 173–173 об.; Д. 37. – Л. 1.

(34) Похороны жертв контрреволюции // Уральский рабочий. – 1918. – 5 июля.

(35) См. о нем: ГАСО. – Ф. р-511. – Оп. 1. – Д. 187. – Л. 2, 8, 15 и др.

**RUSSIAN CAPTIVITY OF 1914–1922:  
SOCIOLOGICAL DIMENSION  
(ON THE URALS MATERIALS)**

**O.V. Surjikova**

Institute of History and Archaeology  
Ural Branch, Russian Academy of Sciences  
*Rosa Luxemburg Str., 56, Ekaterinburg, Russia, 620026*

The article constitutes an attempt to consider Russian captivity of 1914–1922 from the sociological perspective. The author demonstrates that captive foreigners being at the same time group of inclusion and group of exclusion played both positive and negative part. On the one hand, they contributed to the deformation of established social borders, norms and structures, on the other hand – to their qualitative change. In a direct or indirect ways appropriating strange (moreover, hostile) environment, prisoners of war inevitably failed to become its organic part. In a large measure it was accounted for by the fact that Russian society due to acuteness of its internal contradictions denied foreign soldiers the perspective of successful socialization, depriving itself of a possibility to develop composite identities and respective differently directed social interactions which ensured the stability and success of the modern social entities.

**Key words:** World War I, military captivity, strangers, host community, social action, socialization, inclusion, exclusion, norm of participation.